

Погрузив мелкий инструмент, милиционеры взырились на точило, козлом стоявшее у стены сарая.

— А с этим агрегатом что будем делать? — младший спросил старшего.

— Чо-чо, — передразнил своего подчиненного старшой.

— Приказано же: чего увезти нельзя — уничтожить. И вся недолга.

— Да больно уж штука-то завидная! — почмокал губами Шамотов, разглядывая, будто заморскую диковину, точило.

— Тогда грузи, коль понравилась, — потрафил своему помощнику старшой.

Тот попробовал и не сдвинул точильного козла с места. Тогда оба они принялись тащить его к тележке. И смешно было смотреть на чудаков — «козел» так и не поддался им, словно он был живой и чуял близкую расправу над ним. Упыхавшись, начальник злобно скомандовал подчиненному:

— Бей на месте!

Младший вынес из мастерской кувалду, густо поплевал на ладони и неуклюже, без малейшей сноровки шибанул по точильному камню. После первого удара точило ответно стрекнуло снопом красно-белых искр по глазам милиционеров. Озлившись, неудачник ударил еще раз. И лишь с третьего раза каменный ошибок отлетел к ногам старшого. Тот пугливо отпнул его сапогом, будто он был горячим. Потом еще разок вышибли искры из точила, и оба законника ослабились в улыбке, как дикари, добывшие огонь. Не одолев «агрегата», они попинали его ногами и, завалив на бок, оставили в покое.

— Азияты! — покачал головой дед. — Вам ишо бы перо в нос...

Милиционеры не поняли, что проворчал дед, и спросили свое:

— А где мужики твои, старый хрен? Работнички сподручные?

— Я же сказал, на заводе они, — дед глянул на солнце.

— Счас гудок дадут — и тут будут.

Вскоре и правда паровозно прогудел заводской гудок, и отец, и дядя, а с ними и мать моя (там же работала маляр) пришли домой.

Допросы шли всю ночь, и только поутру, когда прогудел гудок и милицейское начальство переговорило с заводским руководством, арестованных отпустили. Обнаружилось, что все они никакие не нэпманы, а ударники пятiletки и занесены в почетную книгу строителей социализма. Отпустить отпустили, но конфискованный инструмент не вернули, так как он еще вечером был разграблен начисто. Кем? Бдительные законники не стали объяснять деду...

Милицейская тележка стояла у подъезда «отделения» без коня, с задранными к небу оглоблями. Старик, заглянув в пустой кузовок, покачал головой и побрел в свою кузню — там, как во всякое утро, его ждала работа.

* * *

Время шло своим чередом. Каждодневно в нужные часы гудел заводской гудок. Работали казенную работу отец с матерью и мои дядья. Без малого износа своей дюжинной силушки ковал железо и мой дед, пока не грянула «священная». В первый же год войны на дальних и ближних фронтах сложили свои головы сыновья деду — все до единого. Как водилось на Руси, Ксенофонт Кондратич запил с горя, накликая и на себя скорую смертушку. Но не от вина помер дед. Оно его, сколько помню, никогда не брало. Сокрушила его со света

злынь-тоска по родным сынам. За неделю до полной останки сердца дед сходил в свою старую кузню и попросил молодых мастеров отковать ему крест.

— Ай помирать надумал, Кондратич? — с шуткой отнеслись к этой просьбе его бывшие подмастерья.

— Надумал, ребята. Пора!..

Дня за два до кончины дед сколотил себе гроб из горбыля — добрых досок не нашлось, вымазал его сажей на клею в стариковский цвет — тем и кончил он свою земную работу. Мать моя, не спросясь умирающего свекра, привела к нему батюшку. Дед, осерчав на нее, погрозил уже неразгинающимся пальцем, но худого слова сказать не одолел. От исповеди и соборования отказался, но с батюшкой поговорил мирно. И совсем не о прощении грехов.

— У бога и без меня делов уйма. Его тоже пожалеть надобно...

Как помнит мать, которая закрыла ему глаза, это были его последние живые слова.

Слободские мужики, те, что вернулись калеками из госпиталей, выпросили у больничного водовоза лошадь и на допотопных дрогах отвезли своего старого казюка на погост. Закопали и водрузили на жальнике им же сработанный крест.

* * *

...Я не хоронил любимого деду. Как некогда кувалдой был отбит кусок от старого точила, так и меня отшибла от дома война, надолго и лихо закрутив, будто песчинку, в бешенстве людской круговерти. Пройдя фронт и получив все, что отведено уцелевшему солдату — ранение, контузию, медали, — я долго блукал по чужбинному белу свету в поиске своей судьбинной доли. Ушли мои лучшие годочки, а я так и не стал «казюком» — казенным рабочим. Но до сей поры, теперь уже со стариковской жизненной отметины, мне горько вспоминается дедовское точило. Все реже и реже, с панихидным чувством я наезжаю на родимый корень. Избы давно нет — снесли коммунальным бульдозером. Причину нашли важную: своей старшиной она портила «державный» вид российской дороги, по которой в восьмидесятом надо было пронести в столицу олимпийский огонь, зажженный от главного Светила на потеху и диво живущим. Теперь на кровном корню растет лишь горюн-трава да светится лунным отшибком точильный песчаник, словно могильный камень над сгибшим гнездом из века работного рода. Под тем камнем — и совесть, и муки самых дорогих мне людей...

